



Г. В. ПЛЕХАНОВ

<М. В. Ломоносов>

То обстоятельство, что Россия была самодержавно-шляхетским государством, определило, между прочим, как ход просвещения в нашей стране, так и степень его доступности для различных общественных классов. «Шляхетство», особенно в лице тех своих представителей, которые «теснились у трона», имело сравнительно легкую возможность удовлетворить потребность в знании, раз она возникала у него. В России XVIII века оно даже обязано было учиться и подвергалось ответственности за неисполнение этого своего долга*. Наоборот, тяглая Русь обязана была доставлять средства для дворянского просвещения, пребывая в той же темноте, в какой прозябала она до Петровской реформы. Правда, правительство вынуждено было привлекать в школы не только шляхетских детей: образованных «шляхтичей» не хватало для служения многочисленным нуждам государства. Но даже на школьной скамье разночинцы не смешивались с дворянами. Когда в Москве возник университет, там же основаны были для подготовки слушателей две гимназии: *одна для дворян, а другая для разночинцев*. В Петербурге, где была одна только гимназия при Академии наук, правилами 1750 года предписывалось «обучающимся в гимназии из шляхетства и других знатных чинов людей детям сидеть за особенным столом, а которые незнатных отцов дети, тех особливо отделить»**. По всему видно, что дворянство очень дорожило этими отличиями. Мы знаем, как заботился просвещенный Татищев¹ о том, чтобы, в деле ученья, шляхетство «от подлости отделено было».

Наконец, необходимо помнить, что к числу счастливых, имевших хотя бы и очень нелегкий доступ в среднюю и «высшую школу, не принадлежали *дети многочисленных крепостных людей*.

* Кто по той или по другой причине стоял близко к трону, имел возможность не только просвещать самого себя, но и «командовать» просвещением. Кирилл Разумовский в 18 лет был назначен президентом Академии Наук.

** В. В. Каллаш. Очерки по истории школы и просвещения. Москва, 1902, стр. 96.

Выходит, что Некрасов слишком оптимистически представлял себе положение дел на нашей родине, когда писал в своем стихотворении «Школьник»:

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных, то и знай...

Что русская «природа» отнюдь не бездарна, об этом нечего и говорить. Но, к сожалению, даровитые люди из русской народной среды слишком часто лишены были возможности развить свои духовные силы и сделаться «славными». Общественно-политический строй загораживал русской народной массе дорогу к знанию. Это до такой степени верно, что возникло предание, согласно которому «архангельский мужик», упоминаемый в том же стихотворении Некрасова, отворил себе дверь в школу только посредством обмана.

Рассказывают, что, стремясь попасть в Славяно-греко-латинскую Академию, Ломоносов выдал себя за сына священника (по другому известию — дворянина), так как туда принимали учеников только из среды дворянства и духовенства. Потом, опасаясь наказания за эту ложь, он будто бы открылся Феофану Прокоповичу², который сказал ему: «Не бойся ничего; хотя бы со звоном в большой колокол стали тебя публиковать самозванцем, я твой защитник».

С фактической стороны этот рассказ сомнителен. Однако *se non è vero, è ben trovato*. В нем есть своя правда. Верно то, что «ученая дружина», к которой принадлежал Прокопович, больше, нежели кто-нибудь, должна была сочувствовать успехам просвещения в России. В рассказе позабыто одно: эта дружина тоже совсем не чужда была сословных предрассудков. И уже совсем верно изображено в рассказе крайне затруднительное положение даровитых молодых людей, рвавшихся к свету, но не имевших счастья принадлежать к сословиям более или менее привилегированным. Ввиду этого крайне затруднительного положения возникает вопрос: как же все-таки вышло, что крестьянское происхождение не помешало молодому Михаилу Ломоносову сделаться наиболее выдающимся русским ученым XVIII столетия?

Само собою разумеется, что ему помогла «природа», одарившая его огромными способностями. Однако одних способностей было мало: необходимо было добиться возможности *применить их к делу*. Откуда вырвал ее даровитый крестьянский юноша?

Тут, прежде всего, надо вспомнить ту «благородную упрямку», о которой не без гордости говорил впоследствии сам Ломоносов и которая действительно была ему в высшей степени свойственна. В письме к И. И. Шувалову³ он так рассказывал о своей жизни

в «Спасских школах» (т. е. в названной выше московской Академии).

«Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели. С одной стороны, отец, никогда детей кроме меня не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил... С другой стороны, несказанная бедность: имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил. С одной стороны, пишут, что, зная моего отца достатки, хорошие тамошние люди дочерей своих за меня отдадут, которые и в мою бытность предлагали; с другой стороны, школьники малые ребята кричат и перстами указывают: смотри-де, какой болван лет в двадцать пришел латыме учиться».

Что и говорить! Много «благородной упрямки» обнаружил тогда юный «архангельский мужик». Но и она ничего не объясняет. Остается непонятным, как же мог попасть в школу хотя бы и очень даровитый крестьянский сын при тогдашнем положении крестьянской массы.

Чтобы понять это, мы должны принять в соображение, что Ломоносов родился на севере, где крестьянство издавна жило не совсем так, как в других частях русского государства. Нельзя сказать, чтобы там совсем не было крупного землевладения: север имел немало монастырей, владевших землею и располагавших рабочей силой подчиненных им крестьян. Но это было только полбеды. Другая, горшая половина отсутствовала: там не было *поместного* землевладения. Это не могло не оказать благотворного влияния на характер и привычки местного населения, которое, кроме того, еще от времен «господина Великого Новгорода» вело очень подвижный образ жизни и отличалось более независимым характером, чем жители коренных московских областей. Независимость характера сопровождалась более высокой культурой. Ломоносов научился читать еще у себя на родине. Правда, его мать была дочерью дьякона, однако учился он не у нее, потому что она умерла слишком рано. Правда и то, что, подстрекаемый мачехой, отец часто журил его за «пустую» трату времени на книги. Но не все его односельцы относились к учению так пренебрежительно. Есть известие о том, что грамоте выучил его крестьянин Шубный, который будто бы и внушил ему мысль об отходе в Москву. У другого крестьянина той же деревни, Христофора Дудина, Ломоносов достал сделанное Симеоном Полоцким стихотворное переложение Псалтыри, грамматику Смотрицкого и арифметику Магницкого. Подмосковный крестьянин Посошков⁴ мечтал о том, чтобы не было ни одной деревни без грамотного человека. В Денисовке эта мечта была действительностью.

И то, что она была там действительностью, значительно облегчило первый шаг гениального крестьянина-мальчика на его пути к свету — знанию.

Но еще прежде, нежели научиться читать, юный Ломоносов научился путешествовать и выносить лишения, всегда связанные с тем родом путешествий, который выпадал на долю трудящегося народа. Отец его занимался морскими рыбными промыслами и, уезжая из дому, часто брал сына с собой. Некоторые исследователи думают, что величественные явления северной природы впервые загрозили в душу гениального юноши нередко повторявшуюся им впоследствии мысль о божьем могуществе.

Это, конечно, возможно, хотя, как увидим ниже, мысль эта могла иметь другое происхождение. Но что кажется неоспоримым, так это то, что ранние, богатые трудностями и приключениями путешествия Ломоносова закаляли его характер и сообщали ему «благородную упрямку». Еще более вероятным считаю я то соображение, что, родись Ломоносов в какой-нибудь помещичьей деревне центральной России, ему, пожалуй, не пришлось бы сопровождать своего отца дальше, как до господской усадьбы и до господской пашни, и тогда отход из дому в Москву, — если бы Ломоносов и стал задумываться о нем, — показался бы ему слишком затруднительным или даже прямо несбыточным. Наконец, если бы он все-таки ушел, то правило, запрещающее принимать в школы крепостных детей, явилось бы, может быть, самым большим препятствием на его пути к свету.

Мы видим отсюда, что архангельский мужик стал разумен и велик не только по своей и божьей воле.

Ему чрезвычайно помогло то обстоятельство, что он был именно *архангельским* мужиком, мужиком-*поморцем*, не носившим крепостного ошейника.

Теперь взглянем на дело с другой стороны. Там, где отсутствовал служилый класс, не могло быть и борьбы с ним, а следовательно, не могло быть и настроения, создаваемого классовой борьбой. В Смутное время, когда Болотников поднимал крепостных крестьян и холопов, поморцы не только не пошли за ним, но, напротив, поддерживали московское правительство царя Василия. Да и потом их усилия способствовали восстановлению старого, расшатанного Смутой, социального строя Московского государства. В одушевлявшем их духе независимости не было ничего бунтовского, ничего, толкающего на «потрясение» каких-либо «основ».

Ровно ничего похожего на склонность к потрясению каких-либо основ не заметно и во взглядах Ломоносова. Юношеские годы, проведенные им на родине, оставили в его душе богатый запас впечатлений. Но впечатления эти порождены были преимущественно картинами природы и борьбой с нею за существование. Взаимные

отношения людей в обществе, т. е. взаимные отношения общественных классов, никогда не возбуждали в нем такого интереса, с каким относился к ним Посошков. В высокой степени свойственная Ломоносову «благородная упрямка» сделала из него человека, умевшего охранять свое достоинство в то печальное время, когда образованные разночинцы, — вспомним несчастного Тредьяковского, — покорно гнули шею перед разного рода «милостивцами». Правда, и Ломоносову приходилось искать покровительства Ив. Ив. Шувалова: без покровителей тогда нельзя было обойтись. Но, ища покровительства, он умел охранять свою гордую независимость. «Не только у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, — писал он тому же Шувалову, заподозрив его в желании поиздеваться над ним, — но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет»*. Можно ли не согласиться с тем, что «упрямка», подсказавшая эти слова, была поистине *благородной* упряжкой? Но дух личной независимости очень хорошо уживался у Ломоносова с почти полным, — чтобы не сказать просто полным, — равнодушием к основным вопросам общественного устройства. Н. Булич заметил, что Ломоносов не видел темных сторон Петровской реформы. Он мог бы сказать больше того: Ломоносов не видел также и темных сторон современного ему русского общественного порядка. В этом отношении чрезвычайно даровитый и разносторонне ученый поморец далеко отстал от *подмосковного* «купецкого человека», самоучки Посошкова, так страстно искавшего доступной его уму «правды» в социальных отношениях.

Казалось бы, что запрещение принимать в школы крепостных детей должно было вызывать со стороны Ломоносова самое решительное осуждение. Ведь он по собственному опыту знал, как трудно было попадать на школьную скамью детям тяглой Руси. Прекрасно знал он и то, что на Западе тогда не существовало сословных перегородок в деле образования. «Другие европейские государства, — писал он, разбирая академический регламент 1747 года, — наполнены людьми учеными всякого звания, однако не единому человеку не запрещено в университетах учиться, кто бы он ни был, и в университете тот студент почтеннее, кто больше научился; а чей он сын, в том нет нужды. Здесь в российском государстве ученых людей мало; дворянам для беспорядку рангов нет ободрения; в подушный оклад положенным запрещено в Академии учиться. Может быть, сочинитель думал, что государству великая тягость, ежели оно 40 алтын (подушной подати. — Г. П.) в год потеряет для получения ученого россиянина»... Но, критикуя «сочинителя» регламента, Ломоносов не говорит, как, навер-

* Материалы для биографии Ломоносова, собранные академ. Билярским, стр. 487.

но, сказал бы Посошков, — что надо позволить «положенным в подлинный оклад» учиться, где они пожелают. Он не идет так далеко, он хотел бы только добиться известных послаблений для более зажиточных слоев народа. Он спрашивает: «Чем те виноваты, которые, состоя в подушном окладе, имеют такой достаток, что на своем коште детей своих в науку отдать могут? И для чего выключены все глухо, не различив хороших (sic!) людей посадских от крепостных помещичьих?»

Что это значит? То ли, что Ломоносов, не надеясь добиться всего, предпочитал получить от начальства хоть что-нибудь? Или же то, что «хорошие люди посадские» были ближе сердцу гордого поморца, нежели помещичьи крепостные крестьяне? Очень может быть, и то и другое.

Г. Сухоплюев писал недавно, что в своей известной записке «О размножении и сохранении российского народа» Ломоносов «по существу требовал ограничения прав дворян над их крепостными»*. Какой характер имело это требование, показывает то место названной записки, где говорится о крестьянских побегах.

Из пограничных областей крепостные уходили за границу и тем самым переставали существовать для государства, превращаясь для него в живых покойников, по образному выражению Ломоносова. Правительство множило караулы на русском рубеже. Ломоносов находит, что эта мера цели не достигает, так как, — опять по его же образному выражению, — столь великой скважины силою не запрешь. Остается только прибегнуть к мерам кротости.

«Побеги бывают более от помещичьих отяготений и от солдатских наборов, — говорит Ломоносов. — И так, мне кажется, лучше пограничных с Польшею жителей облегчить податями и снять солдатские наборы, расположив их по всему государству»**.

Во всей записке это единственное место, где наш автор касается положения крепостных крестьян. Но касается он его, как видим, не «по существу», а единственно по тому побочному поводу, что крестьянские побеги уменьшают население государства. Но замечательно, что Ломоносов не решается выступить с проектом каких-нибудь ограничений помещичьих прав, хотя бы только в пограничных местностях. Он только советует облегчить там гнет податей и тяжесть солдатских наборов. Это как нельзя более осторожно. Правда, он обещает предложить еще другие «способы» в записке о просвещении и об исправлении народных нравов. Записка эта до нас не дошла. Однако нет никакого основания предполагать, что Ломоносов вы-

* «Взгляды Ломоносова на политику народонаселения» в «Ломоносовском сборнике», 1911 г., стр. 193.

** См. третий выпуск «Бесед в Обществе любителей российской словесности при Московском университете», стр. 85–85. Москва, 1871 г.

сказывал в ней более широкий взгляд на задачи государства по отношению к крепостному крестьянству. Редакция «Москвитянина», еще в начале 40-х годов напечатавшая записку о размножении русского народа, тогда же заметила от себя: «Великий ученый и литератор не оставлял ни одного государственного и народного вопроса без внимания! Обо всем думал и обо всем имел собственные мысли и предположения»*. Это верно. Нельзя не удивляться широте умственных интересов Ломоносова. В Письме к И. И. Шувалову, сопровождавшем записку о народном размножении, он говорил, что у него есть еще много заметок, «простирающихся к приращению общей пользы», и что они «могут быть распределены по таким отделам:

- 1) о размножении и пр. (уже известная нам записка);
- 2) о истреблении праздности;
- 3) о исправлении нравов и о большем народа просвещении;
- 4) о исправлении земледелия;
- 5) о исправлении и размножении ремесленных дел и художеств;
- 6) о лучших пользах купечества;
- 7) о лучшей государственной экономии;
- 8) о сохранении военного искусства во время долговременного мира.

Когда он находил время думать обо всех этих вопросах? Хорошо выразился Пушкин, назвав его нашим первым университетом. Однако не все факультеты этого университета работали с одинаковым прилежанием и с равным успехом. Призванием Ломоносова являлось естествознание. Тут он был глубок и оригинален. Наоборот, в общественных вопросах он разбирался не очень хорошо, и потому «мысли, простирающиеся к приращению общей пользы», не были ни глубоки, ни оригинальны.

Кто внимательно прочтет записку о народном размножении, тот с уверенностью скажет, что в этого рода заметках Ломоносова вообще не могло быть критических взглядов на основы нашего общественного строя. Мы уже видели, как поверхностно решал он вопрос о положении крепостных крестьян в порубежных губерниях России. Теперь обратим внимание на нечто еще более замечательное.

Предложенное им решение крестьянского вопроса сопровождается такой фразой: «Для расколу много уходит российских людей на Ветку; находящихся там беглецов не можно ли возвратить при нынешнем военном случае?»**.

* «Москвитянин», 1842 г., кн. 1. Материалы для истории российской словесности, стр. 126, примечание. Записка Ломоносова напечатана там с пропусками.

** «Беседа», вып. III, стр. 85. Записка помечена первым ноября 1761 г., т. е. относится ко времени Семилетней войны.

Очень похоже на то, что Ломоносов советовал правительству воспользоваться «военным случаем» для насильственного возвращения наших беглецов, поселившихся на Ветке. Надо сознаться, что «по существу» это было бы не весьма умной мерой борьбы с побегами раскольников. От Ломоносова можно было бы ожидать другого. Но в том-то и дело, что в вопросах этого рода он разбирался весьма плохо*.

Делая оценку соображений, заключающихся в записке Ломоносова, г. Сухоплюев говорит, между прочим, что ее автор был убежденным сторонником эвдаимонистической философии, будто бы впервые систематизированной Хр. Вольфом⁵. «Содействовать достижению общего счастья, доставлять благосостояние всеми полицейскими мероприятиями во имя естественного права составляет обязанность и право государственной власти,— поясняет г. Сухоплюев,— таково было убеждение Хр. Вольфа. Подобно Вольфу, Ломоносов стремится к достижению общего счастья, убежден в необходимости велений естественного права, возлагает преувеличенные надежды на всемогущество правительственной деятельности»**.

На основании этих слов г. Сухоплюева можно подумать, что эвдаимонизм, будучи приведен в систему, непременно должен держаться точки зрения полицейского государства. Это — огромное и даже весьма комичное заблуждение***. Но верно то, что Вольф был сторонником полицейского государства и что в этом отношении, как и во многих других, Ломоносов шел за ним. Если бы это было иначе, то наш великий ученый не дал бы совета возвращать домой беглых раскольников с помощью военной силы. И если бы его общественные взгляды проникали за пределы полицейского государства, то он и на положение крестьян взглянул бы не только под углом казенного интереса. Как и для Вольфа, идеалом для Ломоносова являлось полицейское государство, руководимое просвещенным абсолютным монархом. В проектах тех мероприятий, которые рекомендует Ломоносов для сохранения и размножения народа, видна непоколебимая вера во всемогущество попечительного и просвещенного начальства. Вера эта подкрепля-

* «Московский сборник», стр. 209.

** Ломоносов намекал на средство, уже испытанное нашей администрацией. В 1733–1734 гг. русских крестьян, бежавших в Польшу, силой возвращали оттуда, пользуясь пребыванием на польской территории наших войск, поддерживавших кандидатуру Августа III вопреки явно выраженной воле огромнейшего числа законных избирателей. Мысль о некотором облегчении участи крестьян пограничных местностей тоже высказывалась раньше, нежели к ней пришел Ломоносов. В 1735 г. смоленский губернатор А. Бутурлин предложил ее правительству, придав ей поистине комическую форму (Соловьев, История России, кн. 4, стр. 1435).

*** Надо еще прибавить, что Вольф не был таким безусловным сторонником эвдаимонизма, как это думает г. Сухоплюев.

лась у Ломоносова примером недавнего царствования Петра Первого.

Он признает, что много препятствий стоит на пути к исправлению указанных им недостатков, но не надо этим смущаться. Препятствия эти «не больше опасны, как заставить брить бороды, носить немецкое платье, сообщаться обходительством с иноверными, уничтожить боярство, патриаршество и стрельцов, и вместо их учредить Правительствующий Сенат, Святейший Синод, новое регулярное войско, перенести столицу на пустое место и новый год в другой месяц! Российский народ гибок!»*.

Интересен ближайший повод, по которому он выражает свою уверенность в гибкости нашего народа. Ломоносов находил, что наши посты и сопровождающие их разговенья приносят большой вред народному здоровью: «Бедный желудок, привыкнув чрез долгое время к пицам малопитательным, вдруг принужден принимать тучные и сальные брашна в сжавшиеся и ослабевшие проходы и, не имея требуемого довольства жизненных соков, несваренные ядения по жилам посылает: они спираются, пресекается течение крови, и душа из тесноты тела прямо улетает». В доказательство он ссылается на церковные записи, из которых можно, по его словам, узнать, в какое время года у попов выходит всего больше меда на кутью. Обычай поститься возник в теплом климате, делавшем известное воздержание от пищи безвредным для здоровья. Наш климат — совсем другой. Кроме того, мы должны помнить, что богу приятнее, «когда имеем в сердце чистую совесть, нежели в желудке цынготную рыбу», и что злой человек, обижающий своих ближних, не получит прощения от бога, «хотя бы он вместо обыкновенной постной пищи в семь недель ел щепы, кирпич, мочало, глину и уголье и большую бы часть того времени простоял на голове вместо земных поклонов»**. Это рассуждение вполне одобрили бы все просветители.

Просветителем является перед нами Ломоносов и в остальных частях записки. Так, например, он осуждает обычай крестить младенцев зимою в холодной воде. Он советует «принудить властью, чтобы всегда крестили водою летней в рассуждении теплоты равною». Жалуется он еще на то, что у нас в народе не имеют понятия о повивальном искусстве и о лечении детских болезней. Большое препятствие к размножению народа видит он также в «насильном» и в «неравном супружестве». Под неравным супружеством он понимает большую разницу в возрасте между брачующимися. Он думает, что невеста не должна быть старше жениха больше, чем двумя годами, а жених не должен быть старше ее на пятнадцать лет. «Насильное» супружество есть супружество вопреки воле одного

* «Записка», стр. 81.

** Там же, та же страница.

из брачующихся лиц или обоих. «Где любви нет, не надежно «плодородие», — замечает Ломоносов*.

Запомним еще его протест против пострижения в монашество молодых людей обоего пола. Он советовал «клобук запретить мужчинам до 50-ти, а женщинам до 45-ти лет».

Наконец, он хотел бы, чтобы правительство учредило «богаделенные дома» для незаконнорожденных.

Исходной точкой для всех этих, — *в своем роде* весьма разумных, — проектов, служит государственный интерес. Собственный интерес жителей уходит из поля зрения Ломоносова. Да и забота о государственном интересе подсказывает ему только такие меры, которые решительно ни в чем не изменили бы установившихся на Руси общественных отношений.

Ломоносов мог возмущать духовенство своими свободными рассуждениями о постах или своим насмешливым гимном бороде. Но в общественном смысле он всегда оставался полным и, конечно, вполне искренним консерватором.

Вольф тоже был консерватором, хотя его ненавидели протестантские ортодоксы и пиетисты. Но мы ошиблись бы, если бы приписали влиянию Вольфа консерватизм нашего гениального поморца. В нем было слишком много самостоятельности для того, чтобы он без критики подчинился чьему-нибудь влиянию. Более основательным представляется то предположение, что Ломоносов усвоил консервативное мировоззрение Вольфа именно потому, что у него самого не было никакой склонности критиковать существовавший у нас тогда общественный порядок.

В отличие от французских просветителей, немецкие были полны духа компромисса. Взгляды Вольфа надо рассматривать как всесторонне обдуманную попытку устранить из просветительной философии все то, что могло бы привести ее в сколько-нибудь серьезное противоречие с германской действительностью. Но для того, чтобы избежать такого столкновения, освободительная философия непременно должна была, между прочим, провозгласить мир между религией и наукой: мир этот был провозглашен еще Лейбницем, затратившем очень много ума на безнадежное дело его теоретического оправдания. Вольф высказывался за такой мир, пожалуй, еще энергичнее, нежели Лейбниц. Он категорически и настойчиво утверждал, что рассказы, содержащиеся в книгах Ветхого и Нового Завета нисколько не противоречат разуму. В своей теологии он отводил широкое место физико-теологическому доказательству бытия божия. И во всем этом Ломоносов твердо шел по следам своего учителя. Его «Утреннее размышление о Божием величестве» заканчивается таким обращением к Богу:

* «Записка», стр. 84.

Творец, покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи,
И что угодно пред Тобою
Всегда творити научи,
И, на Твою взирая тварь,
Хвалить Тебя, бессмертный царь.

Положим, сам Вольтер охотно прибегал к физико-теологическому доказательству бытия божия и нередко принимался хвалить творца, указывая на «тварь». Вольтер был убежденным деистом. Однако фернейский патриарх всю жизнь стремился «*ecraser l'nfame*»⁶, между тем как Ломоносов, подобно Вольфу, никогда не задавался подобной целью. Его рационалистические рассуждения о poste могли не нравиться духовенству, но на самом деле в них не заключалось ничего опасного для церкви.

Если в своем отношении к ней Ломоносов не был безусловным консерватором, то лишь постольку, поскольку не был им сам Петр Первый, его идеал монарха-просветителя. Петр без церемонии наложил свою железную руку на русское духовенство. Но, окончательно подчиняя церковь центральной власти, он не потерпел бы никаких нападков на ее догматы. Никогда не нападал на них и никогда не сомневался в них и Ломоносов.

Он и тут нимало не расположен был к потрясению каких-либо основ. Он высказывал твердое убеждение в том, что научная истина и религиозная вера «суть две сестры родные, дочери одного Всевышнего родителя» и что они «никогда между собою в распрю прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на их вражду всклепнет». Нужно ли было ему в детстве видеть величественные картины северной природы, чтоб в зрелые годы составить себе такое убеждение? Нет! Убеждение это разделяли тогда все немецкие просветители, никогда не бывавшие на севере. Чтобы прийти к нему, нужно было только не иметь того оппозиционного настроения, которое в тогдашней Франции так часто и так сильно ссорило науку с верой. А его-то и не имел Ломоносов.

Что его стихотворные размышления о божьем величии проникнуты полной искренностью, это доказывается тем духом поэзии, который, бесспорно, пропитывает их. В этих своих произведениях Ломоносов обнаруживает несравненно больше поэтического вдохновения, нежели в своих одах. Но поэтом несомненным, глубоко чувствующим поэтом, он становится тогда, когда смотрит на вселенную не с точки зрения того или другого мифа, а с точки зрения современного ему естествознания, так хорошо ему знакомого. Он восклицает:

Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло, приблизившись, воззреть;

Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно океан.
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.

Язык тут, разумеется, тяжел, как тяжел он нередко даже в наиболее удачных стихотворениях той эпохи. Но дыхание космической поэзии чувствуется здесь в такой же мере, как и в «Вечернем размышлении о Божием величестве»:

Лицо свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна звезд полна.
Звездам числа нет, бездне дна.
.....
Уста премудры нам гласят:
Там разных множество светов;
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков

и т. д.

Странно, что Пушкин, обладавший таким тонким критическим чутьем и, в общем, судивший так поразительно верно о стихотворной деятельности Ломоносова, не обратил внимания на эту ее сторону. Если, как заметил он сам, вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, то надо признать, что именно научное представление о космосе располагало душу Ломоносова к живейшему принятию впечатлений, получавшихся им от картин природы.

Горячий сторонник просвещения, Ломоносов не мог не преклониться перед монархом, который «предусмотрел за необходимо нужное дело, чтобы всякого рода знания распространить в отечестве, и людей искусных в высоких науках, также художников и ремесленников размножить»*. Неприятно действуют на нынешнего читателя только огромные преувеличения в похвальных отзывах его о первом русском императоре. Он заявляет, например: «Ежели человека, Богу подобного, по нашему понятию, найти надобно, кроме Петра Великого не обретаю»**. Кажется, что дальше идти в этом направлении невозможно. Но Ломоносов идет дальше.

* Сочинения М. В. Ломоносова, изд. Ак. Наук, т. IV, стр. 368.

** Там же, стр. 390. (Похвальное слово Петру.)

«За великие к отечеству заслуги, — читаем мы в том же похвальном слове, — назван он (Петр. — Г. П.) отцом отечества. Однако мал ему титул. Скажите, как Его назовем за то, что Он родил Дщерь всемилостивейшую Государыню нашу, которая на отеческий престол мужеством вступила, гордых врагов победила, Европу усмирила, благодеяниями своих подданных снабдила?»*

Громкий титул отца отечества «мал» для Петра, потому что он «родил» Елизавету! Это уже слишком даже с точки зрения собственной риторики Ломоносова, согласно которой «штиль в панегирике, а особливо в заключении должен быть важен и великолепен, и при том уклонен и приятен»**. Надо прямо сказать: «штиль» похвальных слов Ломоносова неприятен. Он заставляет вспоминать не только о панегирике Плиния Младшего Траяну, на который указывали наши исследователи как на образец, избранный Ломоносовым, но и о тех панегириках IV столетия, в которых римские ораторы времен упадка превозносили тогдашних владык Рима. Неприятно чувствуешь себя, когда невольно приходят в голову такие невыгодные для великого «архангельского мужика» сравнения. Конечно, царствование Елизаветы дало кое-кому возможность облегченно вздохнуть после тирании Бирона. Но мы знаем теперь, что общее положение страны очень мало улучшилось и при Елизавете. Это очень хорошо видели наблюдательные современники***. Неужели не видел этого очень наблюдательный Ломоносов? А если видел, то откуда почерпал он свой восторг? Как мог он воспевать «блаженство дней своих»? Можно сказать, пожалуй, что не один он готов был писать панегирики власти имущим. Однако это не ответ. Своими редкими дарованиями Ломоносов так сильно возвышался над окружавшею его средою, что мог бы хоть немного отклониться от установившегося в ней обычая. Ведь умел же он говорить с И. Шуваловым таким языком, каким не имели обыкновения говорить с «милостивцами» другие образованные разночинцы того времени. Разгадка в том, что иное дело Шувалов, а иное дело Петр и его «дщерь». Чтобы написать знакомое нам письмо к Шувалову, достаточно было духа личной независимости и «благородной упрямки», а чтобы усмотреть черные стороны Петровской реформы и царствования Елизаветы, нужна была такая склонность к обдумыванию важнейших общественных явлений, какой никогда и ни в чем не об-

* Там же, та же страница.

** Сочинения, т. III, стр. 70.

*** В 1757 г. голландский посланник писал: «Общество в России представляет ужасающую картину распущенности и беспорядка, распадение всех связей гражданского общества. Императрица видит и слушает только Шувалова (очевидно, П. П. Шувалова. — Г. П.), не беспокоится ни о чем и продолжает свой привычный образ жизни. Она буквально покинула свое государство на разгромление» («Русский двор сто лет тому назад», СПб., стр. 73).

наруживал Ломоносов. Ученый естествоиспытатель, он сохранил большую наивность в области политики*.

Ломоносов высказывает то мнение, что у нас музы могут найти себе более безопасное убежище, нежели где бы то ни было. Подкрепляется это мнение ссылкой на то исключительное спокойствие, которым будто бы пользуется Россия благодаря «прозорливости Монархини нашей», а также указанием на обширность русского государства и на вытекающее отсюда разнообразие его физических особенностей. «Ибо где удобнее совершиться может звездочетная и землемерная наука, как в обширной Ее Величества державе, над которою солнце целую половину своего течения совершает и в которой каждое светило восходящее и заходящее в едино мгновение видеть можно?»** — спрашивает, например, Ломоносов. Излишне доказывать, что с точки зрения истории культуры такие доводы слабы***. Но интересно, что здесь мы едва ли не в первый раз встречаемся с той мыслью, что положение России имеет такие исключительные преимущества, которые позволяют ей опередить со временем западно-европейские страны. Мысль эта высказывалась потом весьма часто. Больше всего дорожили ею наши новаторы, мечтавшие о тех или других социально-политических реформах, хотя она и не была их исключительным достоянием. Ломоносов совсем не попытался дать ей какое-нибудь философско-историческое обоснование. Но, как увидим, уже Фонвизин отстаивал ее с помощью соображений, которые даже и в XIX веке представлялись убедительными всем сторонникам идеалистического взгляда на историю.

Читая «Книгу о скудости и богатстве», чувствуешь, как сильно болел Посошков бедствиями тяглой Руси. Такой боли незаметно ни в одном сочинении Ломоносова. Что он любил Россию и русский народ, в этом никакое сомнение невозможно. Но впечатления детства у него были иные, нежели у Посошкова, и он стремился служить России не посредством исправления важных *общественных* «неисправ», а распространением в ней *просвещения*. В этом направлении мысль его работала неутомимо. Даже преувеличенные похвалы его дочери Петра придумывались им, по крайней мере, отчасти, для того, чтобы как можно более расположить ее в пользу просвещения. В похвальном слове, произнесенном 26 ноября 1747 года,

* Прежде чем превозносить Елизавету, Ломоносов превозносил ее ближайших предшественников: Анну в «Оде на взятие Хотина» и других. Большой запас наивности нужен был хотя бы для того, чтобы совершенно спокойно позабыть об этом после ноябрьского переворота 1741 года.

** Сочинения, т. IV, стр. 268.

*** Ломоносовский довод от географии напоминает обращенное к России восклицание Гоголя (в первой части «Мертвых Душ»): «Здесь ли в тебе не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатую, когда есть место, где развернуться и пройти ему?»

в годовщину ее воцарения, Ломоносов, превознося ее до небес, наметил широкую программу просветительной деятельности.

«Не токмо мы довольствуясь Ее Величества щедротами,— говорит он,— иные в откровении естественных тайн, и в исследовании пречудных дел премудрого Создателя в спокойстве услаждаемся, иные предподая наставление учащимся с радостию чувствуем являющиеся плоды трудов наших; не токмо учащиеся питаемы обильною Ее рукою без попечения о своих потребностях, только о научении стараться могут: но общее благополучие предлагается. Нет ни единого места в просвещенной Петром России, где бы плодов своих не могли принести науки; нет ни единого человека, который бы не мог себе ожидать от них пользы»*.

Взятая в таком общем виде,— принесение пользы родине путем распространения в ней света науки,— это есть та программа, которую ставили себе все просветители всех стран. Но в каждой отдельной стране конкретная формулировка ее видоизменялась под влиянием социально-политической обстановки. Наши просветители первой половины XVIII века не примешивали к ней никаких пожеланий по части общественных реформ. В этом отношении Ломоносов, которого по его же собственным словам часто попрекали его крестьянским происхождением, был, пожалуй, самым типичным между ними. Он усердно просвещал жителей своей страны, но никогда не позволял себе «учить» ее правительство. В сравнении с этим петербургским просветителем «московский прогрессист» Посошков, требовавший исправления неисправ и за то окончивший дни свои в каземате, является поистине беспокойным человеком. Однако и Ломоносову случалось вызывать неудовольствие начальства.

Россия только недавно выступила на путь западно-европейского просвещения. Правительство приглашало иностранных ученых в Россию. Но приглашенные им ученые не все бескорыстно любили науку, да не все были настоящими учеными. Они смотрели на русских людей сверху вниз и старались подчинить их себе, сделать образование своей монополией. Ломоносов видел, как видел Посошков, эти эксплуататорские поползновения иностранных торговцев, и опять, подобно Посошкову, стремился избавить русских от подчинения иностранцам. Это стремление не вызвало, и при данном ходе его умственного развития не могло вызвать, националистической реакции в его мирозерцании, но причинило ему много неприятностей. Спокойно смотревший на «отяготения» крепостных крестьян помещиками, он выходил из себя, доказывая, что иностранцы своекорыстно и недоброжелательно относятся к делу русского просвещения. Раздражительный и несдержанный, он придавал иногда

* Сочинения, т. IV, стр. 256.

такой оборот борьбе своей за это дело, что поднимался вопрос о наказании его «на теле» и даже о «лишении живота». Если он избегал и того и другого, то единственно благодаря своему «довольному обучению».

В цитированном мною выше похвальном слове Елизавете он обращался к «российским юношам» от имени императрицы, приглашая их учиться в интересах России.

«Я видеть Российскую Академию из сынов Российских состоящую желаю; поспешайте достигнуть совершенства в науках: сего польза и слава отечества, сего намерение Моих Родителей, сего Мое произволение требует».

Потом от ее же имени он указывал учащейся русской молодежи целый ряд задач, ожидающих своего решения.

«Не описаны еще дела Моих Предков, и не воспета по достоинству Петрова великая слава. Простирайтесь в обогащении разума и украшении Российского слова». Это — темы для будущих историков и литераторов. А вот насущное дело для будущих техников: «В пространной Моей державе неоцененные сокровища, которые натура обильно произносит, лежат потаенны, и только искусных рук ожидают: прилагайте крайнее старание к естественных вещей познанию, и ревностно старайтесь заслужить Мою милость»*.

Мысль о том, что русские люди должны научиться ходить на своих собственных ногах, сделаться самостоятельными работниками в области науки и техники, редко покидала Ломоносова. Ода Елизавете, написанная в 1747 году, содержит знаменитую строфу:

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободрены
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля раждать.

В той же оде Елизавете повторяется та не менее дорогая Ломоносову мысль, которая, без сомнения, была бы горячо одобрена Посошковым, — мысль, что приобретение русскими людьми научных знаний должно способствовать развитию производительных сил России:

И се Минерва ударяет
В верьхи Рифейски копием,

* Сочинения, т. IV, стр. 269.

Сребро и золото истекает
Во всем наследии Твоем.
Плутон в расселинах мятется.
Что Россам в руки предается
Драгой его металл из гор,
Который там натура скрыла;
От блеску дневного светила
Свирепой отвращает взор...

Уже страдая предсмертной болезнью, Ломоносов продолжал заботиться об отправке за границу русских студентов, окончивших университетский курс. Вообще надо заметить, что к вопросам науки и просвещения он относился с гораздо большим увлечением, нежели сама ученая дружина. Кантемир⁷ думал, что служебная деятельность важнее литературной. А для Ломоносова служить и значило неустанно работать для русской науки и русского просвещения. Читатель согласится, что эта особенность взглядов «архангельского мужика» делает ему большую честь.

В мой план не входит оценка литературных произведений Ломоносова. Тем не менее я не устоял перед искушением указать на склонность его к «космической поэзии»*. Теперь я позволю себе напомнить замечание Белинского, что стихи Ломоносова были необыкновенно хороши по своему времени и что никто из его современников не писал таких хороших стихов. Белинский прибавлял, что Державин сделал очень малый шаг вперед после своего великого предшественника, и то лишь в наилучших своих стихотворениях, значительно уступая ему в менее удачных**. Между тем мы знаем, что литература никогда не была главным призванием Ломоносова.

Никогда не была не только главным, но вообще серьезным его призванием и история, хотя он и находил, что ученые русские люди обязаны описать дела предков Елизаветы, особенно же, конечно, Петра Первого. Когда Елизавета лично выражала ему свое желание «видеть российскую историю, его штилем написанную», он, следуя своему всегдашнему обыкновению, постарался хорошо ознакомиться с источниками. Но из его обработки источников не вышло ничего замечательного. Его мысль не очень хорошо разбиралась во всем, относившемся к настоящей или прошлой жизни общества. Он не понял задачи историка; как говорит С. М. Соловьев, он смотрел на историю с чисто литературной точки зрения и таким образом создал литературное направление в русской исторической

* Джордано Бруно имел большую склонность к космической поэзии. Но, в отличие от Ломоносова, он был *пантеистом*, что придало особый оттенок и его космическому вдохновению.

** См. статью о сочинениях Державина. Сочинения Белинского, Москва, 1883 г., ч. VII, стр. 87.

науке, господствовавшее в ней долго после него*. Ломоносов считал себя обязанным «открыть древность российского народа и славные дела наших государей». Вследствие этого его «Древняя российская история» вышла чем-то вроде нового похвального слова. Впрочем, в ней можно найти, по словам С. М. Соловьева, правильные и даже блистательные замечания о некоторых частных вопросах истории славян**.

Предаваясь своим историческим занятиям, Ломоносов не забывал о так больно обижавшем его высокомерном взгляде образованных иностранцев на Россию и русский народ. Он хотел хорошо разукрасить нашу историю, надеясь, что «всяк, кто увидит в Российских преданиях равные дела и Героев Греческим и Римским подобных, унижать нас пред оными причины иметь не будет». Посошков, думается мне, и тут вполне понял бы и вполне одобрил бы Ломоносова. Сравнивая русскую историю с историей Рима, Ломоносов находил между ними следующее, правда, по его же собственным словам, небольшое, «подобие». Эпоха («владение») римских королей соответствует «самодержавству первых самовластных Великих Князей Российских». Период республики («гражданское правление») подобен «разделению нашему на разные княжения и на вольные города, некоторым образом гражданскую власть составляющему». Наконец, период императорский представлялся Ломоносову «согласным самодержавству Государей Московских». Разница только в том, что римское государство гражданским владением возвышалось, а самодержавством пришло в упадок. Наоборот, Россия разномысленною вольностью едва не была доведена до крайнего разрушения, между тем как самодержавство умножило ее, укрепило и прославило. Как видит читатель, в этой исторической параллели очень много наивного и очень мало поучительного. С. М. Соловьев, по справедливости, назвал ее странной.

По словам Ломоносова, Петр поднял Россию на вершину славы. При таком взгляде естественно было приурочить все свои дальнейшие упования к просвещенной деятельности русских государей. Как и «ученая дружина», Ломоносов считал, что только правительству может принадлежать у нас почин прогрессивной деятельности. Так думали долго после него многие русские прогрессисты.

Повторяю, главным призванием Ломоносова были естественные науки, от занятия которыми он никак не хотел отказаться даже тогда, когда от него требовали изложения подходящим «штилем» истории России. В XIX веке наши естествоиспытатели приписывали Ломоносову много крайне важных открытий. Писали, например,

* С. М. Соловьев. Сочинения, кн. 5, стр. 1351. Ср. «Главные течения» П. И. Милюкова, стр. 24.

** Там же, стр. 1355.

что он первый высказал правильный взгляд на образование каменного угля и на происхождение янтаря. Профессор Любимов утверждал, что, занимаясь воздушным электричеством, Ломоносов составил теорию, которая превышала, может быть, все современные ему понятия об этом предмете. Но несравненно важнее всех остальных его физических теорий было отвержение им гипотезы теплорода и учение о теплоте как об особом виде движения. Было бы желательно, чтобы специалисты вновь подвергли критической оценке естественно-научные заслуги Ломоносова. Но и теперь уже очевидно, что Ломоносов был чрезвычайно выдающимся естествоиспытателем. «Все записки Ломоносова по части физики и химии не только хороши, но превосходны,— писал один из его современников, знаменитый Эйлер,— ибо он с такою основательностью излагает любопытнейшие, совершенно неисследованные и необъяснимые для величайших гениев предметы, что я вполне убежден в верности его объяснений».

Впрочем, вопрос об естественно-научных заслугах Ломоносова должен быть рассмотрен *историками естествознания* в России. В *истории русской общественной мысли*, а также в истории европеизации нашего отечества гораздо уместнее вопрос о не совсем понятной на первый взгляд судьбе, выпавшей на долю ученых работ Ломоносова.

Его поставил Н. Булич, с грустью отметивший, что работы эти не оказали влияния на ход нашего научного развития и привлекли к себе внимание русских естествоиспытателей только по случаю чествования памяти Ломоносова в 1865 году (столетие со дня его смерти.) «Почему современная европейская наука не воспользовалась его гениальными открытиями? — спрашивал г. Булич.— Почему русские ученые, шедшие по одной дороге с Ломоносовым, не обратили внимания на груды его, изучение которых разом дало бы им здравые понятия в науке и избавило бы от тяжелой и ненужной необходимости изучать плохие зады Европы?»*

Рассмотрению этого вопроса не мешает предпослать несколько общих соображений.

Представим себе две страны, находящиеся на неодинаковых ступенях культурного развития. При этом отсталая страна учится у передовой и постепенно выдвигает своих собственных деятелей в различных областях науки и литературы. Иные из этих деятелей могут отличаться большими дарованиями. Но, в общем, научные и литературные приобретения *отсталой* страны будут в течение некоторого времени по необходимости очень скромными и потому совсем неинтересными или очень малоинтересными для интеллигенции пере-

* Статья «Михаил Васильевич Ломоносов» в изданном С. А. Венгеровым сборнике «Русская поэзия», СПб., 1893, стр. 94.

довой страны. Так, например, известно, что после Тридцатилетней войны Германия сильно отстала от других государств Западной Европы и должна была много учиться у них в течение всего XVIII века, а особенно первой его половины. Вследствие этого немецкая философия и литература оставались малоизвестными интеллигенции этих государств даже тогда, когда и в литературе и в философии уже сделаны были огромные успехи. Другой пример: западные читатели, включая сюда и германских, совсем не знали русской литературы в такое время, когда в ней уже действовали таланты первой величины. Это не все. Пока выдающиеся люди *отсталой страны* не получают признания в *передовых странах*, они не добьются полного признания и у себя дома: их соотечественники будут питать более или менее значительное недоверие к своим «доморощенным» силам («где уж нам!»). Ведь нельзя же отрицать, что русские люди оценили все колоссальное значение своей литературы только после того, как перед ней преклонился Запад*. Я не спрашиваю: хорошо это или дурно? Я только говорю: так было, так будет. Так было и так будет по весьма понятной социально-психологической причине. И если мы примем во внимание эту причину, то нам станет ясно, почему, как спрашивает г. Н. Булич, ученая деятельность Ломоносова не оказала влияния на дальнейший ход западной науки и почему она мало обратила на себя внимания даже русских ученых, шедших с ним по одной дороге. Он был *первым* русским человеком, не получившим ни за границей, ни у себя дома того влияния, которое, казалось бы, по праву принадлежало ему, как человеку редких способностей. Но он был, как говаривали у нас в старину, «в роде своем не последний».

Выдающиеся умы, подобно книгам, имеют свою судьбу. И нельзя сказать, что судьба их «куется» ими самими. Она *определяется той ролью, которую играет их родина* в ходе культурного развития человечества.

Но и это еще не все. Естественно-научные работы Ломоносова были очень замечательны; но он далеко не сделал всего, что мог сделать для естествознания. Обстоятельства его жизни вынуждали его разбрасываться. Я уже не говорю о тех заказных восторгах, которые он обязан был выражать и прозой, и стихами при разных высокаторжественных okazиях, хотя оды, похвальные слова и разные «надписи», конечно, отнимали у него не мало времени. Но даже серьезные занятия его нередко мешали ему всецело отдаваться тому делу, которое было для него дороже всех других. А он был не только *ученым*. Он был также *просветителем*. «Мое единственное желание,— писал он однажды И. И. Шувалову,— состоит в том, чтобы

* Давно ли мы убедились, благодаря лорду Кельвину, что наш Лебедев был очень большой величиной в физике.

привести в вожделенное течение университет, откуда могут произойти бесчисленные Ломоносовы».

Известно, как усердно хлопотал он об основании Московского университета и как много сделал для того, чтобы упорядочить преподавание в нем. Несколько позже Ломоносов стал добиваться коренного переустройства Петербургского университета, влачившего самое жалкое существование при Академии Наук. Он хотел, чтобы и этот университет сделался независимым от Академии учреждением. Мысль его была осуществлена только при Александре I. Но для учебных заведений нужны были учебники и руководства. И вот Ломоносов принимается за их составление. Он пишет «Краткое руководство к риторике» (1744 г.) «Краткое руководство к красноречию» (1748 г.), «Российскую грамматику» (1755 г.), «Рассуждение о пользе книг церковных в российском языке»*. Всем этим далеко не исчерпывается его просветительная деятельность, но всякий понимает, что для всего этого нужно было много времени, которое при других условиях досталось бы естественным наукам. Просветитель боролся в Ломоносове с ученым и мешал ему развернуть во всей полноте свои гениальные научные способности. А между тем Ломоносов не мог отказаться от своей деятельности просветителя; этого не позволяла ему его горячая любовь к родине.

Главными деятелями во всей истории нашей общественной мысли являются именно просветители. Некоторые из них обладали огромной силой теоретической мысли. Но собственно просветительная деятельность почти всегда отвлекала их от занятий «чистой наукой». И они сами хорошо сознавали это. Н. Г. Чернышевский⁸, сам

* Какого мнения был он о русском языке, показывают следующие его строки: «Карл Пятый, Римский Император, говаривал, что Ишпанским языком с Богом, Французским с друзьями, Немецким с неприятельми, Италианским с женским полом говорить прилично. Но естли бы он Российскому языку был искусен; то конечно к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие Ишпанского, живость Французского, крепость Немецкого, нежность Италианского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость Греческого и Латинского языка. Обстоятельное всего сего доказательство требует другого места и случая. Меня долговременное в Российском слове упражнение о том совершенно уверяет. Сильное красноречие Цицероново, великолепная Виргилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на Российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не может; не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем». (Соч., т. IV, стр. 10, в посвящении «Грамматики» вел. князю Павлу Петровичу.) Эти строки напоминают восторженный отзыв о русском языке И. С. Тургенева. Ломоносов выражался не так просто, как Тургенев, но, конечно, был так же искренен.

занимающий такое почетное место в ряду русских просветителей, высказал интересный взгляд на то, как именно должны передовые русские люди служить своей стране.

«Многие из великих людей Германии, Франции, Англии заслуживают свою славу, стремясь к целям, не имеющим прямой связи с благом их родины,— писал он в «Очерках Гоголевского периода русской литературы»,— и, например... многие из величайших ученых, поэтов, художников имели в виду служение чистой науке или чистому искусству, а не каким-нибудь исключительным потребностям своей родины». У нас это невозможно. «Со временем будут и у нас, как у других народов, мыслители и художники, действующие чисто только в интересах науки или искусства; но пока мы не станем по своему образованию наравне с наиболее успешными нациями, есть у каждого из нас другое дело, более близкое сердцу, — содействие, по мере сил, дальнейшему развитию того, что начато Петром Великим*. Это дело до сих пор требует и, вероятно, еще долго будет требовать всех умственных к нравственных сил, какими обладают наиболее одаренные сыны нашей родины»**.

Эти рассуждения объясняют многое не только в судьбе Ломоносова, но и других наших просветителей, между прочим и самого Чернышевского. Полезно вспомнить о них, когда возникает вопрос, почему не так много сделал для «чистой» теории тот или другой весьма даровитый русский человек: очень часто окажется, что у него было другое дело, более близкое его сердцу, нежели занятие «чистой» теорией.



* Т. е. деятельность просветителя, распространяющего в России богатые приобретения западно-европейской науки и философии.

** Сочинения Н. Г. Чернышевского, СПб., 1905, т. II, стр. 120–122.